

но потому, что эти ужасы всегда слабы по сравнению с ужасами возможности. Если же говорящий полагает, напротив, что величие его состоит в том, что он никогда не пребывал в страхе, я с удовольствием предложу ему мое разъяснение: *это произошло потому, что он совершенно бездуховен.*

Там, где индивид обманывает возможность, благодаря которой он воспитывается, он никогда не достигает веры; и вера его становится неким событием *конечного*, точно так же как его школа есть школа конечного. (Там же. С. 224.)

Однако тот, кто осуществил обучающий переход возможности в несчастье, потерял все, как никто не терял в действительности. Но если он все же не обманул возможности, которая стремилась научить его чему-то, если он не запутал своей болтовней страх, который стремился сделать свободным, он и получает это все обратно — как никто другой в действительности...; *ибо ученик возможности обретает бесконечность*, тогда как душа другого рассеялась в конечном. <...>

Если в самом начале своего воспитания он неправильно понял *страх*, так что тот не стал вести его к вере, но, напротив, прочь от нее, он погиб. И наоборот, тот, кого воспитывает возможность, остается со страхом, он не позволяет себе обмануться, бесчисленными подделками под нее, в его памяти точно пребывает прошедшее; и тогда нападения страха, как бы они ни были ужасны, все же не заставляют его бежать. [с.56] Страх становится для него прислуживающим духом, который даже против собственной воли вынужден вести его туда, куда он, охваченный страхом, *хочет* идти. (Там же. С. 245.)

Вера — это как раз такой парадокс, согласно которому единичный индивид в качестве единичного стоит выше всеобщего, единичный оправдан перед всеобщим, не подчинен ему, но превосходит его, правда таким образом, что единичный индивид, после того как он в качестве единичного был подчинен всеобщему, теперь посредством этого всеобщего становится единичным, который в качестве единичного превосходит всеобщее; вера — это парадокс, согласно которому единичный индивид стоит в абсолютном отношении к абсолюту. (Кьеркегор С. Страх и трепет. — М., 1993. С. 55-56.)

Парадокс веры таков: единичный индивид выше, чем всеобщее, единичный индивид... определяет свое отношение ко всеобщему через свое отношение к абсолюту, а не свое отношение к абсолюту через свое отношение ко всеобщему. Этот парадокс можно выразить и следующим образом: существует абсолютный долг перед Богом; ибо в таком отношении долга единичный индивид в качестве единичного абсолюта относится к абсолюту. ...Отсюда, однако же, не следует, будто этическое должно быть уничтожено, просто оно получает теперь новое выражение, парадоксальное выражение, так что, например, любовь к Богу может побудить рыцаря веры придать своей любви к ближнему выражение, совершенно [с.57] противоположное тому, чего с этической точки зрения требует от него долг. (Там же. С. 67.)

ФРИДРИХ НИЦШЕ (1844 – 1900)

Фридрих Ницше — немецкий философ, автор философских трудов, в которых философия приобрела совершенно специфический облик. Он сам писал о «неописуемой странности и раскованности» своих мыслей. Труды Ницше своеобразны и по форме, и по содержанию. Его философия — выражение глубинного раскола его с действительностью, которую он не приемлет. Его не удовлетворяет ни современное ему общество, ни человек, ни духовная культура, ни господствующие ценности. Он стремится к иному, и в своих произведениях создает собственный образ этого иного.

Основные произведения: «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «Генеалогия морали», «Антихристианин», «Ессе homo», «Воля к власти» и др.

О философии и философах

Дефицит личности мстит за себя повсюду; расслабленная, невзрачная, потухшая, отрекшаяся от самой себя и отрицающая себя личность не годится уже ни на что хорошее — меньше всего на философию. «Самоотверженность» ни во что не ставится на небе и на земле; все великие проблемы требуют великой любви, а на нее способны только сильные, цельные, надежные умы, плотно прилегающие к самим себе. Крайне [с.58] существенная разница, относится ли мыслитель к своим проблемам лично, видя в них свою судьбу, свою нужду и даже свое величайшее счастье, или «безлично»: именно, умея лишь ощущать их и схватывать щупальцами холодной, любопытной мысли. (Ницше Ф. Соч. в 2 т. — М. 1990. С. 665.)

Я думаю, что от того, что понимает под мудростью народ (а кто ныне не «народ?»), — от той умной коровьей безмятежности, той набожности и пасторской кротости, которая лежит на лугу и серьезно и жующе взирает на жизнь,

– именно от этого философы чувствовали себя наиболее отстоящими, вероятно, потому, что были для этого недостаточно «народом», недостаточно сельскими пасторами. И, конечно, они позже всех смиряются с мыслью, что народ мог бы понять кое-что из того, что как нельзя дальше отстоит от него, – великую страсть познающего, который постоянно живет, должен жить в грозном облике высочайших проблем и тягчайших ответственностей (стало быть, отнюдь не созерцательно, извне, равнодушно, надежно, объективно...). Народ чтит совершенно иной сорт человека, когда со своей стороны составляет себе идеал «мудреца», и тысячекратно в этом прав, осыпая лучшими словами и почестями как раз такого сорта людей: кроткие, серьезно-глуповатые и непорочные священнические натуры и все им родственные – им воздается хвала в народном благоговении перед мудростью.

...Но, что справедливо и в обратном порядке – среди философов также и священник считается еще «народом», а не [с.59] «знающим», прежде всего потому, что сами они не верят в «знающих», и уже от этой веры и этого суеверия на них самих несет «народом». (Там же. С. 671-672.)

Философия отделилась от науки, когда она поставила вопрос: каково то познание мира и жизни, при котором человек живет счастливее всего? (Там же. С. 242-243.)

Философ: это человек, который постоянно переживает необыкновенные вещи, видит, слышит, подозревает их, надеется на них, грезит о них; которого его собственные мысли поражают как бы извне, как бы сверху и снизу, как привычные для него события и грозные удары; который, быть может, сам представляет собою грозную тучу, чреватую новыми молниями; это роковой человек, постоянно окруженный громом, грохотом, и треском и всякими жутями. Философ: ах, это существо, которое часто бежит от самого себя, часто боится себя, – но которое слишком любопытно для того, чтобы постоянно снова не «приходить в себя», не возвращаться к самому себе. (Там же. С. 401.)

Мир и человек

Мы опшарены кипятком познания и до очерствелости охлаждены познанием того, что в мире ничто не совершается божественным путем, ни даже по человеческой мере – разумно, милосердно или справедливо: нам известно, что мир, в котором мы живем, небожественен, неморален, «бесчеловечен», – мы слишком долго толковали его себе ложно и лживо, в угоду [с.60] нашему почитанию и, значит, в угоду некоей потребности. Ибо человек – почитающее животное! Но он и недоверчивое животное: и то, что мир не стоит того, во что мы верили, оказывается едва ли не самым надежным завоеванием нашей недоверчивости. Сколько недоверчивости, столько и философии... Вся установка «человек против мира», человек, как «мироотрицающий» принцип, человек, как мера стоимости вещей, как судья мира, который в конце концов кладет на свои весы само бытие и находит его чересчур легким, – чудовищная безвкусица этой установки, как таковая, осознана нами и опротивела нам? мы смеемся уже, когда находим друг подле друга слова «человек и мир», разделенные сублимированной наглостью словечка «и»! Но как? Не продвинулись ли мы, именно как смеющиеся, лишь на шаг далее в презрении к человеку? И, стало быть, и в пессимизме, в презрении к постижимому нами бытию? Не впали мы тем самым в подозрение относительно противоположности между миром, в котором мы до сих пор обитали с нашими почитаниями, ради которого мы, возможно, и выносили жизнь, – и другим миром, который есть мы сами: беспощадное, основательное, из самых низов идущее подозрение относительно нас самих, которое все больше, все хуже овладевает нами, европейцами, и с легкостью могло бы поставить грядущие поколения перед страшным или-или: «отбросьте или свои почитания или самих себя!» Последнее было бы нигилизмом; но не было ли и первое – нигилизмом? – Вот наш вопросительный знак. (Там же. Т.1. С. 667.) [с.61]

Пусть называют то, в чем ныне ищут отличительную черту европейцев, «цивилизацией», или «гуманизацией», или «прогрессом»; пусть называют это просто, без похвалы и порицания, политической формулой – демократическое движение Европы; за всеми моральными и политическими рампами, на которые указывают эти формулы, совершается чудовищный физиологический процесс, среди которых возникают расы, связанные климатом и условиями, их увеличивающаяся независимость от всякой определенной среды в которой в течение целых столетий с одинаковыми требованиями стремится запечатлеть в душе и плоти человека... Те же самые новые условия, под влиянием которых в общем совершается уравнивание людей и приведение их к посредственности, т.е. возникновение полезного, трудолюбивого, на многое пригодного и ловкого стадного животного «человек», в высшей степени благоприятствуют проявлению исключительных людей, обладающих опаснейшими и обаятельнейшими качествами. Между тем как упомянутая сила приспособления, постоянно пробуя все новые и новые условия и начиная с каждым поколением, почти с каждым десятилетием новую работу, делает совершенно невозможной мощь типа... Я хочу сказать, что демократизация Европы есть вместе с тем невольное мероприятие к расположению тиранов – если понимать это слово во всевозможных смыслах, а также и в умственном. (Там же. Т.2. С.361-362.)

Социализм есть фантастический младший брат почти отжившего [с.62] деспотизма, который он хочет наследовать; его стремления, следовательно, в глубочайшем смысле реакционны. Ибо он жаждет такой полноты власти, какою обладал только самый крайний деспотизм, и он даже превосходит все прошлое тем, что стремится к формальному уничтожению личности; последняя представляется ему непомерной роскошью природы, и он хочет реформировать ее, превратив в целесообразный орган коллектива... Он нуждается в такой верноподданнической покорности всех граждан абсолютному государству, какая еще не существовала доселе; и так как он уже не может рассчитывать на старое религиозное благоговение перед государством, а напротив, произвольно должен содействовать его устранению – потому что он стремится к устранению всех существующих государств, – то ему остается надеяться лишь на краткое и случайное существование с помощью самого крайнего терроризма. (Там же. Т.1. С. 446.)

Не высота: склон есть нечто ужасное!

Склон, где взор стремительно падает вниз, а рука тянется вверх. Тогда трепещет сердце от двойного желания своего.

Ах, друзья, угадаете ли вы и двойную волю моего сердца?

В том склон для меня и опасность, что взор мой устремляется в высоту, а рука моя хотела бы держаться и опираться – на глубину!

За человека цепляется воля моя, цепями связываю себя с человеком, ибо влечет меня ввысь, к сверхчеловеку: ибо к нему стремится другая воля моя. [с.63]

И потому живу я слепым среди людей; как будто не знаю их, чтобы рука не утратила совсем своей веры в нечто твердое.

Я не знаю вас люди: эта тьма и это утешение зато окружают меня.

Я сижу у проезжих ворот, доступный для всякого плута, и спрашиваю: кто хочет обмануть меня?

Моя первая человеческая мудрость в том, что я позволяю себя обманывать, чтобы не быть настороже от обманщиков. (Там же. С. 103.)

Воля к власти

Борьба за существование есть лишь исключение, временное ограничение воли к жизни; великая и малая борьба идет всегда за перевес, за рост и распределение, за власть, сообразно *воле к власти*, которая и есть как раз воля к жизни. (Ницше Ф. Веселая наука. // Сочинения. В 2 т. — М. 1990. Т. 1. С. 671.)

Жизнь, как частный случай(отсюда гипотеза относительно общего характера всего существующего), стремится к *максимуму чувства власти*; в существе своем она есть стремление к большому количеству власти; всякое стремление есть не что иное как стремление к власти; эта воля остается самым основным и самым подлинным фактом во всем совершающемся. (Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. — М., 1995. С. 283.)

Всюду, где было живое, обнаруживал я волю к власти; и даже в повиновении слуги находил я стремление быть господином. [с. 64]

И вот какую тайну поведала мне жизнь: «Смотри, – сказала она, – я есть то, что *постоянно преодолевает самое себя*.

Хотя вы и назовете это жаждой воспроизведения и стремлением к цели – к высшему, дальнему, многообразному, но все это – есть одна тайна.

Что бы ни созидала я и как бы ни любила творение свое, – и ему, и любви своей должна стать я противницей; так хочет воля моя.

И сам ты, познающий, ты всего лишь тропа и след воли моей: поистине, моя воля к власти идет ногами твоей воли к истине!

Тот, кто возвестил о «воле к существованию», прошел мимо истины; этой воли не существует!

Ибо то, чего нет, не может хотеть; а то, что есть, не захочет быть, ибо уже есть!

Только там, где есть жизнь, есть и воля: но не воля к жизни – воля к власти! Так учу я тебя!

Много ценит живущий выше, чем жизнь; но и в самой оценке этой говорит воля к власти!»

Так учила меня некогда жизнь: так же, мудрейшие, разрешаю и я загадку сердца вашего.

(Ницше Ф. Так говорил Заратустра. — М. 1990. С.100-101.)

Учение о Сверхчеловеке

И обратился Заратустра к народу с такими словами:

Я учу вас о Сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно преодолеть. Что сделали вы, дабы преодолеть его? [с.65]

Доныне все существа создавали нечто, что выше их; вы же хотите стать отливом этой великой волны и скорее вернуться к зверям, чем преодолеть человека?

Что такое обезьяна по сравнению с человеком? Посмешище либо мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для Сверхчеловека – посмешищем либо мучительным позором.

Вы совершили путь от червя до человека, но многое еще в вас – от червя. Когда-то были вы обезьяной, и даже теперь человек больше обезьяны, чем иная из обезьян.

Даже мудрейший среди вас есть нечто двусмысленное и неопределенно-двуполюсное, нечто среднее между тем, что растет из земли и обманчивым призраком. Но разве велю я вам быть тем либо другим?

Слушайте, я учу вас о Сверхчеловеке!

Сверхчеловек – смысл земли. Пусть же воля ваша скажет: *Да будет Сверхчеловек смыслом земли!* [с.66]

Заклинаю вас, братья мои, *оставайтесь верны земле* и не верьте тем, кто говорит вам о неземных надеждах! Они – отравители; неважно, знают ли они сами об этом.

Они презирают жизнь; это умирающие и сами себя отравившие, это те, от которых устала земля: да погибнут они!

Прежде величайшим преступлением была хула на Бога, но Бог умер, и эти преступления умерли вместе с ним. Теперь же самое ужасное преступление – хулить землю и чтить непостижимое выше смысла земли!

Некогда душа с презрением смотрела на тело: и тогда чем-то высшим считалось презрение это. Душа жаждала видеть тело тощим, отвратительным и голодным – так надеялась она освободиться от не и от земли.

О, та душа сама была тощей, отвратительной и голодной; и жестокость была наивысшим наслаждением для нее.

Но скажите мне, братья мои, что говорит ваше тело о вашей душе? Не есть ли ваша душа – бедность, и грязь, и жалкое самодовольство?

Поистине, человек – это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять его в себя и не стать нечистым.

И вот – я учу вас о Сверхчеловеке: он – это море, где потонет великое презрение ваше...

Заратустра смотрел на толпу и удивлялся. Потом говорил он так:

«Человек – это канат, протянутый между животным и Сверхчеловеком, это канат над пропастью.

Опасно прохождение, опасна остановка в пути, опасен взгляд, обращенный назад, опасен страх.

Величие человека в том, что он мост, а не цель; и любви в нем достойно лишь то, что он – *переход и уничтожение*.

Я люблю того, кто не ищет в небесах, за звездами основания для того, чтобы погибнуть и принести себя в жертву; того, кто приносит себя в жертву земле, чтобы когда-нибудь стала она землей Сверхчеловека.

Я люблю того, кто живет ради познания и стремится [с.67] познавать во имя того, чтобы жил некогда Сверхчеловек. Ибо так хочет он гибели своей. (Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. – М. 1990. С. 10-12.)

О морали и религии

Мои произведения называли школой подозрения, еще более – школой презрения, к счастью, также школой мужества и даже дерзости. И действительно, я и сам не думаю, чтобы кто-то когда-либо глядел на мир с таким глубоким подозрением, как я, и не только в качестве случайного адвоката дьявола, но и – выражаясь богословски – в качестве врага и допросчика Бога... И сколько лживости мне еще нужно, чтобы я мог всегда сызнова позволять себе роскошь моей правдивости? Довольно, я еще живу; а жизнь уж так устроена, что она основана не на морали; она ищет заблуждения, она живет заблуждением. (Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое// Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. — М. 1990. Т. 1. С.232-233.)

Наша любовь к ближним – разве она не есть стремление к новой собственности?

Здесь проступает основное противоречие той морали, которая нынче в таком большом почете: мотивы этой морали противоречат ее принципу!

То, чем эта мораль хочет доказать себя, она опровергает сама своим критерием морального! Положение «ты должен отречься от самого себя и принести себя в жертву» должно было бы, во избежание конфликта с собственной моралью, быть введено в силу таким существом, которое при этом отсеклось [с.68] бы от своей выгоды и, быть может, обрело бы собственную гибель в акте требуемого самопожертвования личности. Но откуда ближний (или общество) рекомендует альтруизм ради пользы, в силе остается прямо противоположное положение: «ты должен искать себе выгоды, даже за счет всех других», стало быть, здесь на одном дыхании проповедуется «ты должен» и «ты не должен». (Ницше Ф. Веселая наука// Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. — М. 1990. Т. 1. С. 584–585.)

Стадный инстинкт. Там, где мы застаем мораль, там находим мы расценку и иерархию человеческих стремлений и поступков. Эта оценка и иерархия всегда оказываются выражением потребностей общины и стада: то, что идет им на пользу во-первых, во-вторых и в-третьих, – это и служит высшим масштабом при оценке каждой в отдельности.

Моралью каждый побуждается быть функцией стада и лишь в качестве таковой приписывает себе ценность. Поскольку условия сохранения одной общины весьма отличались от условий сохранения другой, то существовали весьма различные морали, и с точки зрения предстоящих еще существенных преобразований стад и общин, государств и обществ можно решиться на пророчество, что впереди предостоят еще весьма различные морали. Моральность есть стадный инстинкт в отдельном человеке. (Там же. С. 588.)

Все, что имеет ценность в нынешнем мире, имеет ее не само по себе, не по своей природе – в природе нет никаких ценностей, но оттого, что ему однажды придали ценность, [с.69] подарили ее, и этими деятелями и дарителями были мы! Только мы и создали мир, до которого есть какое-то дело человеку! (Там же. С. 638.)

Да, друзья мои! Пробил час отвращения ко всей моральной болтовне одних в адрес других!... Мы же хотим стать тем, что мы есть, – новыми, неповторимыми, несравнимыми, полагающими себе собственные законы, себя-самых-творящими! (Там же. С. 655.)

Безумный человек. Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень зажег фонарь, убежал на рынок и все время кричал: «Я ищу Бога!... Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц!... Какой водой можем мы очиститься? Разве величие этого дела не слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его? Никогда не было совершено дела более ве-

ликого, и кто родится после нас, будет, благодаря этому деянию, принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история!». (Там же. С. 592–593.)

Величайшее из новых событий – что «Бог умер» и что вера в Христианского Бога стала чем-то не заслуживающим доверия – начинает уже бросать на Европу свои первые тени... Но... само событие слишком еще велико, слишком отдалено, слишком недоступно восприятию большинства... Впредь с погребением этой веры должно рухнуть все воздвигнутое на ней, опиравшееся на нее, вросшее в нее, – к примеру, вся наша [с.70] европейская мораль. (Там же. С. 662.)

Вера всегда больше всего жаждет, упорнее всего взыскуется там, где не достает воли: ибо воля, как аффект поведения, и есть решительный признак самообладания и силы. Это значит: чем меньше умеет некто повелевать, тем назойливее влечется он к тому, кто повелевает, и повелевает строго, – к Богу, монарху, званию, врачу, духовнику, догме, партийной совести. (Там же. С. 668.)

О государстве

Государство? Что это такое? Итак, внимайте же мне теперь, ибо скажу я вам слово свое о гибели народов.

Государством зовется самое холодное из всех чудовищ. Холодно лжет оно; и вот какая ложь выползает из уст его: «Я, государство, я – это народ».

Это – ложь! Родоначальниками народов были созидающие – это они наделили верой и любовью соплеменников своих: так служили они жизни.

Те же, кто расставил западни для людей и назвал это государством, – разрушители: меч и сотню вожделений навязали они всем...

Такое знамение даю я вам: у каждого народа свой язык добра и зла, и в этом – один народ непонятен другому. Этот язык обретается каждым народом в исконных правах и обычаях его.

Смешение языков в понимании добра и зла: это знамение даю я вам как знамение государства. Поистине, влечение к [с.71] гибели означает знамение это! Поистине, оно на руку проповедникам смерти!

«Нет на земле ничего большего, чем я: я перст Божий, – я устроитель порядка», – так рычит чудовище. И не одни только длинноухие и близорукие опускаются на колени!

О, даже вам, великие души, нашептывает чудовище свою мрачную ложь! О, оно угадывает богатые сердца, охотно расточающие себя!..

Этот новый кумир все готов дать *вам*, если вы поклонитесь *ему*: так покупает он блеск добродетелей ваших и взор гордых очей...

Государством зовется сей новый кумир; там все – хорошие и дурные – опьяняются ядом; там все теряют самих себя; там медленное самоубийство всех называется жизнью.

Взгляните же на всех этих лишних людей! Они крадут произведения изобретателей и сокровища мудрецов: культурой называют они эту кражу. И все превращается у них в болезни и бедствия!

Посмотрите на этих лишних! Они всегда больны, они выbleвывают желчь свою и называют это газетой. Они глотают друг друга и никогда не могут переварить.

Посмотрите же на них! Он приобретают богатства и становятся еще беднее. Они, немощные, жаждут власти и, прежде всего рычага ее – денег!

Взгляните, как лезут они, эти проворные обезьяны! Как карабкаются друг через друга, как срываются в смердящую [с.72] пропасть!

Туда, к трону власти стремятся они: в безумии своем мнят они, будто счастье восседает на нем! Часто грязь восседает на троне – и трон нередко стоит в грязи...

Братья мои, неужели хотите вы задохнуться в смрадном чаду их вожделеющих пастей? Бейте же стекла, выпрыгивайте на свободу!

Прочь от зловония! Прочь от идолопоклонства лишних людей!

Подальше от смрада! Подальше от чадающего дыма человеческих жертв!

Свободна и теперь еще земля для возвышенных душ. Еще много привольных мест для отшельников и для тех, кто одинок вдвоем; мест, где веют благоуханием спокойные моря.

Еще открыт великим душам доступ к свободе. Поистине, мало что может овладеть тем, кто владеет лишь малым: хвала бедности!

Только там, где кончается государство, и начинается человек – не лишний, но необходимый: там звучит песнь того, кто нужен, – единственная и неповторимая.

Туда, где государство *кончается*, – туда смотрите, братья мои! Разве не видите вы радугу и мосты, ведущие к Сверхчеловеку? (Там же. С. 41–44.) [с.73]